

ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ФИКЦИЯ В "ЗАПИСКАХ
ИЗ ПОДПОЛЬЯ" Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
/Достоевский и Белинский/

А. Дуккон

Повесть "Записки из подполья" считается литературоведами важной цезурой в творчестве Достоевского. Это произведение -- как водораздельная линия -- суммирует на более высоком уровне все проблемы предыдущего периода и одновременно открывает новые перспективы в литературном изображении глубоко философских вопросов. "Записки из подполья" Достоевский создал во время болезни своей первой жены, Марии Дмитриевны. К этому времени за ним уже т.н. гоголевский период, Сибирь и переживания каторги; повести и романы 40--50-х годов, в которых Достоевский продолжает и обогащает традицию изображения маленького человека; за ним уже и оживленная публицистическая деятельность в редакции "Времени" и "Эпохи", первое путешествие по Западной Европе, о котором он рассказывает в "Зимних заметках о летних впечатлениях" /1863/ накануне возникновения "подпольной темы". Все эти переживания и впечатления в сжатой форме отражаются в парадоксальном герое "Записок...". В критической литературе о Достоевском уже исследованы всевозможные идейные аспекты и биографические факты в связи с этой повестью, но все же некоторые интересные проблемы остались неосвещенными. Часто также встречается в литературоведении и утверждение, что с подпольного человека начинаются большие романы Достоевского, что с этого времени можно с полным правом применять эпитет "философский" почти к каждому его роману, но особенно к "Преступлению и наказанию" и к "Братьям Карамазовым".

В середине 60-х годов Достоевский от изображения философствующих маленьких людей 40-х годов /Девушкин, Голядкин/

переходит к созданию образа сверхчеловека -- в главных чертах предшественника нитшеанского *Übermensch*, -- давая пример развития и более глубокого художественного осмысления этого типа. Появление русского сверхчеловека и немецкого *Übermensch* нельзя считать случайным совпадением или просто типологическим сходством. Известно, что на молодого Ницше Достоевский оказал большое влияние, но есть еще и другое связующее звено между образами сверхчеловека у Достоевского и у Ницше: это книга философа Макса Штирнера "Единственный и его достояние" /1845/. Известно, что на молодого Ницше книга Штирнера произвела сильное впечатление¹. В 1860-х годах эта книга стала известна Достоевскому, но тот факт, что эта книга была известна в кругу Белинского сразу после ее появления, заслуживает особенного внимания: П.В. Анненков пишет в своих воспоминаниях о том, что книга Штирнера попала в руки Белинского после того, как он разочаровался в французских социалистах-утопистах /прежде бывших предметом его воодушевления/². Белинскому -- как об этом свидетельствует его переписка -- были близки те идеи и учения, в которых человеческой личности, неповторяемости человеческого "Я" отводится особенно важная роль. Его "философские мытарства" в связи с Гегелем и потом -- с французскими утопистами вытекали именно из стремления -- против своей природы -- насильно полюбить те системы, в которых выражается как раз противная тенденция, т.е. возвеличивается Всеобщее /*Das Allgemeine*/, и индивидуум подчиняется этому Молоху -- как он в своих письмах называет гегелевское *Allgemeine*. Еще будучи членом кружка Станкевича /в 1830-ые годы/, он страстно полемизирует с Бакуниным по поводу понимания категорий гегелевской философии, таких как "Абсолют", "Всеобщее" и т.д. В этой полемике уже чувствуется, что Белинского не будут устраивать эти категории, что для него философия нужна не как

предмет познания, а как духовная пища, как живой источник развития своей личности, а для такой цели гегелевская философия, и вообще современные философские системы, малопригодны. Гонимый постоянной тоской по какой-то настоящей /абсолютной!/ ценности, после ряда разочарований в различных философских учениях, он вдруг знакомится с индивидуальным субъективизмом Штирнера. Ирония судьбы заключается в том, что Белинский искал "положительного абсолюта", а Штирнер предлагает негативный конец: мрачное достоинство и чистоту отрицания, nihil. Но именно в его философии есть элементы, которые для Белинского могли быть очень понятными и симпатичными: индетерминизм и отрицание всякой метафизики. Штирнер проповедует и защищает право индивидуума и отвергает лозунги французской революции - как напр., равенство, социальность, - которые в словаре Белинского были очень важными понятиями; он дорожил ими даже и тогда, когда уже перестал восторгаться какой бы то ни было философией. Но отрицание Штирнера могло заинтересовать Белинского потому, что оно в отличие от системы Гегеля создает самый радикальный индивидуализм, систему эгоизма, причем это не инстинктивный, животный эгоизм, а сознательный: человек хочет освободиться от всех цепей, от Бога, человечества, общества, веры, правды, чтобы наконец найти самого себя. Это же стремление было и у Белинского. В одном письме к Боткину он пишет:

"Мне теперь ни до кого нет дела, я никого не люблю, ни в ком не принимаю участия - потому что для меня настало такое время, когда я увидел ясно, что или мне надо стать тем, чем я должен быть, или отказаться от претензии на всякую жизнь, на всякое счастье."³ /Курсив мой. - А.Д./

Можно было бы привести еще несколько примеров, которые доказывают сходство некоторых утверждений Штирнера и Белинского и вскрывают психологическую мотивацию интереса русско-

го критика к немецкому философу, но для нас более интересны различия. Штирнер - несмотря на его последовательность и искренность в отрицании так же, как прежде Шеллинг, Гегель, французы - сулил бы Белинскому, если бы он увлекся его философией, новое разочарование. Ведь Белинский остался в душе романтиком и после "своего отрезвления": он не мог жить без "прекрасного и высокого" /как бунтующие герои Достоевского, издавающиеся над собой:/, для него честь, правда, мораль всегда оставались ценностями. Отрицание Белинского вытекало из разочарования, отчаяния, было мотивировано чувственными факторами, а у Штирнера все происходит из разума и логики, чувства здесь не играют никакой роли. По свидетельству Анненкова, Белинский в этот раз был уже более осторожным:

"Он уже боялся прямого, непосредственного философствования, и не хотел к нему возвращаться после своих старых опытов на этом поприще."⁴

С верным чутьем он заметил новые, интересные элементы в философии Штирнера, но уже не "влюбился" в нее, не отдался ей, как в молодости: жестокость системы немецкого философа и усиливающаяся болезнь Белинского сделали совершенно невозможным какое бы то ни было увлечение.

На Достоевского в начале 60-х годов книга Штирнера в некотором отношении влияла, что отразилось на образах подпольного человека и Раскольникова /напр., эгоизм подпольного человека - "миру ли провалиться или мне чаю не пить?", идеи Раскольникова о сильной личности, о совести как о предрассудке и т.п.⁵

"Единственный" /Der Einzige/, т.е. эгоист Штирнера, сверхчеловек Достоевского и Übermensch Ницше, являются совокупностями, центрами философских воззрений каждого создателя и указывают на некоторую преемственность в вариантах отрицающего или необыкновенного человека. Сверхчеловек Досто-

евского и *Übermensch* Ницше стоят ближе друг к другу, чем к их родоначальнику - эгоисту Штирнера. Венгерский философ Лайош Фюлеп /1885--1970/ особенно подчеркивает различия между штирнеровским и нитшеанским типом: Ницше оказывается более поэтом и менее философом при создании своего сверхчеловека, он не доходит до абсолютного отрицания, как Штирнер, а только совершает трансформацию добра и зла, и под этой трансформацией - по мнению Фюлепа - скрывается ностальгия по прекрасному и высокому⁶. Он добавляет, что в отношении имморализма и эгоизма не Ницше, а Штирнер является последним звеном - хотя он и предшествует Ницше.

Для нас очень важен тот факт, что видоизменения шиллеровского "прекрасного и высокого" появляются у Белинского, Достоевского и Ницше параллельно с влиянием Штирнера: у всех троих то гротескное, то трагическое чувство тоски по абсолютным ценностям сочетается с жестоким бунтом и отрицанием. Интерес к книге Штирнера в определенные периоды у трех авторов свидетельствует о том, что литературные варианты сверхчеловека у них одинаково связываются с поисками героя, формы, задачи - и эти искания одинаково мотивированы глубоким духовным кризисом. На родственность настроений и исканий Белинского, Достоевского и Ницше указывает и отрывок из "Записок из подполья", на который направляет внимание Лев Шестов:

"Но Ницше знал "Записки из подполья" и восторженно о них отзывался. Нет ничего невозможного в том, что его столь вызывающая фраза - *pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam* /пусть погибнет мир, но будет философия, будет философ, я сам/ есть только перевод слов подпольного человека: "свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда был."⁷

Мы можем добавить к замечанию Шестова, что лозунг *fiat justitia, pereat mundus* фигурирует и в письме Белинского к

Боткину от 8 сент. 1841 г., когда он рассуждает о том, что людей - из-за их глупости - надо насильно вести к счастью, и кровь тысячей ничтожна по сравнению с унижением и страданием миллионов.⁸ Эта крылатая фраза играет также центральную роль в философии Штирнера, только там она не сочетается с Якобинской программой насильно просветить и облагодетельствовать людей, как у Белинского, а говорит просто об упразднении всяких идей, верований, идеологий с целью освобождения от старых духовных и моральных связей.

Подпольный человек Достоевского является посредующим звеном между Белинским и Ницше: мы можем проследить преемственность от кризисного состояния Белинского к возникновению образа подпольного человека /который, конечно, родился из кризисного состояния Достоевского/ и к сверхчеловеку Ницше. Эти три вызывающие позиции кроме бунтарства выражают еще печаль и трагизм одиночества, чувство, которое иногда переходит в презрение к "обыкновенным людям", к толпе. Читая Достоевского, Горький тоже обратил внимание на связь между русским и немецким сверхчеловеком; для него повесть "Записки из подполья" освещают всю философию Ницше:

"Весь Ф. Ницше для меня в "Записках из подполья"./.../
В этой книге -- ее все еще не умеют читать, - дано на всю Европу о/бо/снование нигилизма и анархизма. Ницше грубее Достоевского/."⁹

Когда молодой Белинский увлекся объективным идеализмом Гегеля, он не подозревал, какой внутренний вред готовил себе тем, что свою живую жизнь во что бы то ни стало хотел перевести в этот отвлеченный мир; сознательно и бессознательно он мерил себя гегелевым Всеобщим и Абсолютом:

"Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда двоились в моих понятиях: прямухинская гармония и знакомство с идеа-

ми Фихте, благодаря тебе, в первый раз убедили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота. И я узнал о существовании этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое бессилие усвоить ее себе; я узнал рай, для того чтобы удостовериться, что только приближение к его воротам - не наслаждение, но только предощущение его гармонии и его ароматов - есть единственная возможная моя жизнь." /16 авг. 1837, Пятигорск/¹⁰

Белинскому кажется, что идеал и действительность исключают друг друга, появляются как мучительная двойственность, ставящая человека перед выбором. По сути дела он перефразирует платоновский парадокс /что было естественно под влиянием Гегеля и Фихте/ и признается, что идеальный мир ему недоступен, а доступно лишь приближение к идеалу. Несколько лет продолжается это колебание у Белинского между духом и материей: то эмпирическую действительность называет он палачом личности, то стремление к духовному миру пустым прекраснотушием, то примиряется с эмпирией и видит врага в идеале, то считает самого себя жертвой этой двойственности. Результат борьбы - уяснение собственного положения - оказывается всегда отрицательным, потому что он в самом начале мало верит в положительную возможность, он готов считать себя недостойным "идеала", самоосуждение сильнее у него, чем самоутверждение. Около 1841 года он дошел до той точки, когда порвалась натянутая струна. В этот период он написал В. Боткину знаменитое письмо /8 сент. 1941/, на которое часто ссылаются литературоведы и философы, в том числе и Л. Шестов, который справедливо видит здесь прототип бунта Ивана Карамазова.¹¹ В этом письме Белинский отказывается от страданием купленной гармонии, от мысли, заимствованной из геге-

левской философии, согласно которой дисгармония есть условие гармонии, историческое развитие неизбежно требует жертв. Он страстно вопрошает, имеет ли он право отдаваться искусству и знанию, когда в плохо устроенном мире нет возможности делиться своим пониманием с ближними:

"Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идей в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними по Христу, но кто - мне чужие и враги по своему невежеству?"¹²

По этой тираде мы можем заключить, что чувство сострадания и альтруизма было еще дорого Белинскому, в это время он встретил бы враждебно принципиальный эгоизм Штирнера, ведь он еще верит в идею социальности /"Социальность, социальность - или смерти!"/ и проповедует отрицание в якобинском духе /что качественно отличается от штирнеровского подхода/:

"Я ожесточен против всех субстанциональных начал, связывающих в качестве верования волю человека! Отрицание - мой бог. В истории мои герои - разрушители старого - Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы; Байрон /"Каин"/ и т.п."¹³ "Ожесточение" Белинского наконец завершается лозунгом *fiat justitia - pereat mundus*, который мы уже цитировали в связи с подпольным человеком, - таким образом он возвращается к исходному пункту, круг замыкается, ведь "зло злым спасается". Если он во имя гуманности не принимает тезис о необходимых жертвах исторического развития, то на таком же основании он должен был бы отвергнуть принцип террора, разрушения, отрицания, потому что при использовании таких средств историческая цель достигается также ценой невинной крови, страдания, через несправедливости, как и в первом случае. Цель

никогда не оправдывает средства. Белинского пока захватывает мысль о том, что террорист, герой-разрушитель лучше знает, как надо вести толпу к счастью, чем философ, поэтому он осуждает любой субстанциальный принцип, который в форме какого-либо верования связывает волю и совесть человека. /Эта часть письма могла бы послужить эпиграфом к роману "Преступление и наказание", - но во время работы над романом Достоевский еще не мог знать переписку Белинского, как так она была издана впервые Пыпиным в 1975 г./

Это письмо для нас интересно не просто из-за высказанных в нем противоречивых мыслей, и не только через них оно связывается с миром Достоевского. Белинский касается здесь вопроса решающего характера, а именно: губительного влияния безличности и дедукции. Если мы своевольно абстрагируем определенные мысли, тезисы какой-то философии, т.е. извлекаем их из того живого духовного процесса, в котором они родились, и применяем их в этом изолированном виде для объяснения проблем настоящего, будущего или личной жизни, происходит своеобразная деформация: то, к чему, напр., Гегель пришел путем индукции, в обобщении, переосмыслении Белинского /Бакунина или другого "гегельянца"/ является лишь дедукцией, формулой, которой можно оперировать, как угодно, но которая уже лишена непосредственного, личного начала, печати личности самого философа.

Тонкие и глубокие умы, каким был Белинский, в конце концов не удовлетворялись такой стерилизованной идеей, а его антипод, Бакунин мог жить лишь в этом вторичном мире; его холодное, эгоцентричное существо расцветало именно в сфере умозрительной, спекулятивной деятельности разума /часто производя разрушения в душе близких ему людей - в том числе - Белинского/¹⁴.

Односторонность в анализе Шестова обусловлена тем, что

он сосредоточивается на вышеупомянутом "переломе", на "перерождении убеждений", и под влиянием двух Великих личностей и сам настраивается против Гегеля. По сути дела имя немецкого философа здесь служит лишь для обозначения определенной типологической цепи: в оценочной системе Шестова оно обозначает т.н. объективную линию /т.е. не-личную, не-трагичную/, к которой он причисляет, напр., Аристотеля, Пеллагия, Толстого, в противовес субъективной, трагической, к которой принадлежат Св. Августин, Лютер, Киркегор, Достоевский. Он правильно причисляет Белинского и Достоевского к одной и той же типологической категории, в отличие от Гегеля, но он не входит в подробности, не останавливается на различии в мышлении критика и писателя.

Разочарование Достоевского в утопических идеях совершается во время каторги и ссылки, но лишь в начале 1860-х годов оно осознается полностью и получает выражение. И в его кризисе играет очень важную роль встреча с духом обезличивания и дедукции: в "Зимних заметках..." и "Записках из подполья" он критикует западную цивилизацию, идеи капитализма и утопического социализма, потому что они тоже насильно хотят "спасать" человечество, путем дедукции, при помощи предварительно изготовленных схем. Свободную личность они заключают в фаланстер, в "муравейник", в мир $2 \times 2 = 4$, и игнорируют ее внутреннюю бесконечность, неповторяемость. /Достоевский правильно заметил отрицательную сторону западного духа - не только отрицательную! - и осуждает ее так страстно может быть потому, что чувствует в ней большую опасность для русского развития: в унаследованную от Византии государственную структуру легче проникает дух современного отчуждения, обезличивания и тоталитаризма, чем в западноевропейскую. Отчасти этой отрицательной стороной западного духа питается вера Достоевского - и других его современников -

в историческую миссию русского народа, в то, что Россия призвана растолковать Европе идею братства и "всечеловечности"/.

При сопоставлении отношения Достоевского и Белинского к проблеме безличности представляется очень важным один и тот же мотив у обоих: это - $2 \times 2 = 4$. Белинский в письме к Боткину /1843/ говорит о том, что разговоры с Тургеневым оказали на него отрезвляющее влияние:

"Тургенев поразил меня нечаянно, сказавши к слову, что Гегель где-то выразился, что дельный человек тот, кто коли видит, что $2 \times 2 = 4$, так и ставит 4, а пустой /прекрасная душа/ тот, кто хоть и видит, что $2 \times 2 = 4$, а все норовит, как /бы/ поставить 5 или 10. До сих пор вся жизнь моя протекла в том, что я видел и понимал, что $2 \times 2 = 4$, а ставил 5. Теперь уж не могу быть так глупо малодушным, но от этого мне не легче - в этом мой смертный приговор: ждать уже нечего, и в душе распространяется холод, сырость и смрад могилы. Я держался глупостью - подпора упала - и я падаю с нею."¹⁵

Белинский с характерной для него откровенностью признается в том, что до сих пор он сам был "прекрасной душой", мечтателем, всегда ставил 5, но теперь считает слова Тургенева такими убедительными, что без раздумья и спора принимает мысль, заимствованную у Гегеля, о философии которого в это время он уже говорит с ненавистью. Это признание является для нас очень важным в исследовании мыслей Белинского и Достоевского: Белинский в действительности прошел тот путь, который проходит подпольный человек в повести Достоевского. С новой верой в $2 \times 2 = 4$ Белинский станет жертвой новой иллюзии. Вместо идеалистического, мечтательного существования он предполагает найти в этой формуле символ настоящего бытия, твердого закона и правды. Но одновременно он отмечает, что эта правда в его личной жизни равна смертному приговору. Лишь перед самой смертью он почувствовал, что этот закон сам по

себе является новым вариантом безличности, "всеобщего" Гегеля, и не дает ему ни силы, ни понимания, чтобы легче вынести страдания, сознание болезни и смерти. Интересно, что в этот раз Белинский, который без спора принимает высказанную Тургеневым формулу $2 \times 2 = 4$, скорее признает себя безнадежным, хотя его личная жизнь именно в это время принимает сравнительно благополучный оборот /в 1843 г. он женился, таким образом прекратился мучительный период одиночества/.

В повести Достоевского формула $2 \times 2 = 4$ появляется с отрицательным знаком: подпольный человек считает ее досадной и страшной из-за беспощадной ее завершенности, точности:

"По крайней мере человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнь жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действительно найти, - ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскать. /.../ Но дважды два четыре -- все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре -- ведь это, по моему мнению, только начальство-с. Дважды два четыре смотрим ферттом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре -- превосходная вещь, но если уже все хвалить, то и дважды два пять -- премилая иногда вещица."¹⁶

Подпольный человек обличает эту простую формулу, разоблачает пустоту и конечность за ней, чтобы таким образом внушить читателям симпатию к формуле $2 \times 2 = 5$, то есть -- к фантастичным, парадоксальным, для разума не существующим явлениям.

При сравнении двух противоположных поведений, мы можем заметить, что Белинский, в противовес своим наклонностям, принимает взгляд Тургенева, и он опять попадает под обаяние какой-то безличной правды; ему кажется, что во имя здравого

смысла он должен осудить и подавить все свои особенности, иногда фантастичные, нерациональные мечты и другие проявления личности. Как раньше он бичевал себя /и одновременно защищался/ в полемике с Бакуниным потому, что из-за бытовых забот он не мог подняться в мир чистой идеи, Абсолюта /юноши в кружке Станкевича ожидали от себя и от других не меньшего/, так теперь он опять себя считает смешным, ничтожным под тяжестью услышанной от Тургенева и действующей на него как откровение правды. Изображая каприз и бунт подпольного человека против окончательной, безапелляционной правды, Достоевский бессознательно освобождает Белинского - уже 16 лет тому назад умершего.

Постановка вопросов и структура повести "Записки из подполья" внушают мысль о том, что Достоевский рассчитывается со своими юношескими идеалами, со своим мечтательным периодом. 15--16 лет разницы во временных плоскостях первой и второй части произведения говорит о том, что подпольный человек именно в середине - во второй части - 40-х годов был романтическим мечтателем и без иронии верил в $2 \times 2 = 5$ тогда, когда Белинский, уже разочаровавшись и в $2 \times 2 = 4$, смотрел в глаза смерти, без новой идеи, с "пустыми руками". Подпольный же человек в настоящем - в первой части повести, в начале 60-х годов - уже знает цену реальной и фантастической "правды", не обращается доверчиво к $2 \times 2 = 4$, как Белинский, но и $2 \times 2 = 5$ может принять только с иронией. Мы полагаем, что это двойное неприятие героя "Записок..." - ни обычный, ни фантастический мир не устраивают его, чего-то третьего не хватает /"Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду!"¹⁷ - делает сомнительной возможность жеста отказа: именно это тотальное сомнение и лишь мимоходом высказанная жажда веры делает невозможными

те трагические - потому что окончательные акты отказа, которые Белинский совершал неоднократно, пока не иссякли все новые и новые источники его веры и убеждений. Подобно мчащимся душам в "Божественной Комедии" Данте /Чистилище!/ он не мог остановиться ни на чем, но его содержащее пафос и комизм поведение напоминает и поведение Дон-Кихота, о чем он сам упоминал в письме к Николаю Бакунину, брату Мишеля:

"Опыт сорвал покров с жизни - и я увидел румяна на очаровательных щеках этого призрака, увидел, что об руку с ним идет смерть и тление - противоречие. Она хороша для тех, для кого хороша, и только на то время, когда хороша. Для меня она никогда не была добра, и я бескорыстно курил ей фимилям, как Дон Кихот своей Дульцинее."¹⁸

Сравнение самого себя с Дон Кихотом несколько раз появляется в письмах Белинского, но его друзья - напр., Некрасов и Тургенев - применяют это сравнение с однозначно сатирической тенденцией к Достоевскому. Это произошло уже после отчуждения друг от друга Белинского и Достоевского /1846/, когда критик откровенно признался, что он ошибся, переоценил талант Достоевского. В колкой эпиграмме Тургенева и Некрасова /"Послание Белинского к Достоевскому"/ отсутствует пафос замечательного героя Сервантеса и слишком преобладает причудливость "витязя горестной фигуры", что могло быть особенно обидным для молодого писателя, потерявшего благосклонность Белинского.

К образу Дон Кихота питали привязанность и Белинский и Достоевский, он появляется у обоих как символ амбивалентных ценностей в процессе самопознания. Тургенев и Некрасов очень метко, хотя и с отрицательной стороны, связывают отношение писателя и критика к Дон Кихоту; они отлично знали литературный вкус круга Белинского. Утверждением $2 \times 2 = 5$ разоблачается донкихотство и Белинского и подпольного человека

/т.е. в некоторой мере Достоевского/, хотя акценты подают на различные качества: у Белинского восторженность, неистовство, доверчивость и размах мыслей напоминает ренессансный архетип, в образе подпольного человека восторженность и неистовство сливаются с гамлетовским сомнением, с ядом слишком развитого сознания./ У Достоевского есть и другие видоизменения "витязя горестной фигуры" - напр., Мышкин, - но анализ этой темы выходит за рамки данной статьи./ Появление образа Дон Кихота в письмах Белинского и в творчестве Достоевского является таким моментом, который свидетельствует о сложном и до сих пор все еще не до конца выясненном отношении Достоевского к Белинскому, и освещает один из компонентов в методе "приближения-отдаления" автора к своему герою.

При чтении писем и статей Белинского бросается в глаза субъективный характер его стиля. Письма к Боткину, Станкевичу и Бакунину часто переходят в исповедь, в страстное самобичевание или самооправдание. Он вел с этими людьми роковые диалоги, споры /и не только письменно/ - этим объясняется перевес живой разговорной речи в его письмах. Он так живо представляет адресата с его настоящими или воображаемыми аргументами, как будто пишет не письмо, а литературное произведение, в котором "собеседник" /другой голос/ выдуман им. Станкевич был для Белинского безусловным авторитетом, в его симпатичной личности и мудрости он нашел понимание и убежище от тиранической дружбы Бакунина, а Боткин стал для него представителем мира реальностей, он делил с ним самые заветные чувства, мысли.

Бакунин вызывал у Белинского крайние, противоречивые чувства. В начале знакомства они писали друг другу восторженные, "философические" письма, тема которых была Идеал и Действительность, Любовь, Абсолютный Дух. Эти философствования постепенно переходят в борьбу, когда выясняется, что Белинский философствует, чтобы жить, а Бакунин наоборот,

живет, чтобы философствовать. В письме от 10 сент. 1838 г. Белинский пишет Мишелю:

"Я сам, обращаясь назад, вижу в своей жизни одни страдания, апатию, падение; восстание, грех, покаяние и все это вследствие отвлеченности, пошлого шиллеризма, натянутости, претензий на гениальность, боязни быть простым малым. Но я хватился за ум и теперь за поцелуй, за улыбку охотно плюну на философию, на науку, журнал, мысль и на все. Ощущения, волнования жизни - это главное; а там можно и пофилософствовать - этак, как выкинется - иногда прозой и иногда и стихами. Ты как-то не мыслью поверяешь жизнь, а жизнью меришь мысль и жизнь вечно подводишь под мысль."¹⁹

Насколько эта противоположная настроенность становится все ярче и ярче, настолько и растет напряжение - надо добавить, что по вине Бакунина, который довольно самовластно настаивал на мысли об обладании "единственной правдой" и хотел навязать свое убеждение не только друзьям, но даже и членам своего семейства. В самый бурный период их переписки голос Белинского часто напоминает самобичевание и самоутверждение будущего подпольного человека, который считал жизненным вопросом опередить воображаемого собеседника /читателя с последним словом о себе/. Конечно, хронология заставляет нас поправить это сравнение: не Белинский похож на подпольного человека, а подпольный человек на то "Я" Белинского, которое вызвал из его души Бакунин. Их переписки Достоевский, по всей вероятности, не знал, как об этом мы уже раньше упомянули. Из прежних разговоров в кругу Белинского он мог слышать о Бакунине, но мы не имеем доказательств о том, что он знал о бурной дружбе Белинского и Бакунина. Все-таки сходство между словами Белинского и подпольного человека - учитывая некоторую трансформацию - легко обнаружить. В создании литературного произведения играют роль не только доказуемые

непосредственные влияния, ведь писатель в первую очередь опирается на своей внутренней опыт и вдохновение, а нужный материал берет, где находит, - из окружения, из самого духа времени. Поэтому мы считаем верным утверждение Долинина, что Белинский - двойник Достоевского:

"Но Белинский: он ведь тоже "бог знает от кого происходит, отец его был так же военным лекарем", как и отец Достоевского. И не в силу ли одинаковости происхождения у него с Белинским и сходная душевная организация, та же способность до конца воспламениться идеей, отдаваться ей восторженно и всецело до тех пор, пока она им владеет, а потом так же страстно с проклятиями на нее обрушиться, когда убеждения изменились, и прежний кумир оказался ложным.

Двойник, его преследующий всю жизнь, выросший в его сердце неотрывными краями - таков Белинский для Достоевского."²⁰

Можно еще к этому добавить, что сходство в их духовном облике выражается и в юношеской претензии на гениальность, в страстном влечении к литературе, склонности к мечтанию и в неупорядоченности их личной жизни, и т.д. - сходство, скоро переходящее в диаметрально противоположный конец. Белинский уже давно раскаялся в претензии на гениальность, в романтических мечтах, "донкихотстве", когда Достоевский, который был на десять лет моложе, пришел к этой стадии. Усталый и больной критик столкнулся со своим прежним "Я" в молодом писателе - и отвернулся. Судьба не дала Достоевскому возможности оправдать первое впечатление критика, он не мог доказать ему свою гениальность, и поэтому боролся с его памятью до конца жизни.

Письма Белинского доказывают, что в начале 40-х годов XIX века русская действительность уже создала возможность существования подпольного человека. Не случайно действие второй части "Записок" происходит в 40-е годы: кризис Белин-

ского в это время достигает кульминации, а Достоевский еще питается шиллеровским "прекрасным и высоким". В образе героя повести Достоевский одновременно воплотил самого себя и Белинского, но в несколько утрированной форме: он сосредоточил внимание на тех психических движениях, которые способствовали рождению подпольного человека /амбиция, чувство неполноценности, тщеславие, экзальтация и восторженность, апатия, мечтательность и склонность к фатализму, страстная жажда истинных ценностей и т.д./. Переписка Белинского вскрывает более разнообразные оттенки, чем литературная фикция, и может быть, поэтому нам картина кажется более симпатичной, человеческой, чем образ героя Достоевского. Но очень важно заметить, что Достоевский создает все-таки не сатиру на себя и на критика, несмотря на то, что в некоторых частях произведения просвечивают элементы пародии. Сатира возникает в том случае, если автору не дорог высмеянный человек, не дороги бывшие идеи и чувства - как в эпиграмме Тургенева и Некрасова. "Записки из подполья" можно считать скорее какой-то своеобразной, извращенной исповедью: герой к концу исповеди старается не оправдать, а еще больше проклясть самого себя и этим как будто подчеркнуть напряжение между выразимым и невыразимым: /"...вовсе не подполье лучше, а что-то другое, которого я жажду, но которого никак не найду!"/. И как Белинский не щадил себя в письмах, так и Достоевский еще решительнее перевел тон повести в направление отрицательное. Подполье у Достоевского символизирует какое-то современное "сошествие во ад" - путь познания самого себя /gnoti seauton/; человек на этом пути заблудился, и современное неверие, сомнение и страх лишают его надежды найти "то другое", которого он жаждет.

Среди писем Белинского есть еще много таких, в которых поразительным образом вырисовывается смутный прообраз буду-

щего подпольного человека. В письме от 1 ноября 1837 года он рассказывает Бакунину о своих литературных планах и хочет написать такое произведение, которое позже создал Достоевский - но уже в более реалистической форме:

"Теперь я начинаю "Переписку двух друзей", большое сочинение, где в форме переписки и в форме какого-то полурома-на будут высказаны все те идеи о жизни, которые дают жизнь и которые без полемики должны разоблачить Шевыревых и подобных ему. Это будет собственно переписка прекрасной души с духом; первое лицо, разумеется, будет моим субъективным произведением, а второе - чисто объективным. /.../ Короче сказать, в этой прекрасной душе я изображу себя и, надеюсь, очень верно; и в этом портрете я наплюю на самого себя и оплачу самого себя. Я изображу себя в двух эпохах жизни: в той, в которую я жил в одном чувстве и прятал свое чувство от разума, как цветок от мороза; и в той, в которую я сознал тождество чувства с разумом, любви с сознанием, но приобрел через это не полное блаженство жизни, а только объективное сознание ее".²¹ /Курсив мой - А.Д./

Предложение "я наплюю на самого себя и оплачу самого себя" точно выражает то, что создал Достоевский в образе подпольного человека, но самобичевание и самосожаление там связываются друг с другом более тесно и сложно, чем у Белинского, и поднимаются на ступень идеологии, призванной оправдать поступки и мысли подпольного человека. Это совпадение служит новым доказательством общности литературного вкуса и духовного облика у Белинского и Достоевского и подтверждает наличие комплекса двойничества между ними. Об амбивалентных чувствах писателя к критику свидетельствует его письмо к вдове Белинского /5 янв. 1863 г./, в котором он тепло вспоминает о прежней дружбе:

"Простите меня великодушно, что я слишком долго не от-

вечал на ваше прекрасное и доброе письмо. Но сначала был занят, а потом болен, потому и опоздал. Письмо ваше произвело на меня чрезвычайно приятное впечатление. Я до того любил и уважал вашего незабвенного мужа и вместе с тем мне так приятно было припомнить все то лучшее время моей жизни, что я от души мысленно поблагодарил вас за то, что вам вздумалось написать ко мне."²² /Курсив мой. - А.Д./

Можно предположить, что не просто вежливость заставляет Достоевского написать такое письмо: тот факт, что все-таки Белинский "посвятил его в рыцари" в мире литературы и воодушевил его после первых шагов, несмотря на совершившееся позже расхождение и отчуждение, сохранил для Достоевского важность и ценность до конца жизни.

На основе писем Достоевского и других произведений мы предполагаем, что с этого письма к Белинской начинается его борьба с памятью критика. "Записки из подполья" есть первое такое произведение, в котором уже таится голос Белинского. После этого отношение Достоевского к памяти и духовному наследству Белинского становится все более и более отрицательным, что выражается очень откровенно в его письмах, а в романах и в "Дневнике писателя" - с разнообразными оттенками.

Надо обратить внимание и на то, что Достоевский трансформирует в фигуру подпольного человека не личность, а голос Белинского, что требует от нас оговорки касательно прототипов и пародии в повести: Белинский здесь не прототип в общепринятом смысле слова, и писатель не пародирует его, а голос притика становится "двойником" авторского голоса, и вместе эти голоса приобретают трагичные или гротескные акценты в ходе рассказа.

Бахтин называет повесть такой *Icherzählung*, которая в форме дурной бесконечности приводит безысходные диалогические противостояния и преобразует однозначную монологическую исповедь в диалог, который ведет "Я" с самим собой или

с отражающимися в собственном сознании чужими голосами. Условие этого преобразования - в той сугубо личной позиции, с которой Достоевский обращается к миру; по терминологии Бахтина - в отсутствии перспективы: "Момент обращения присущ всякому слову у Достоевского, слову рассказа в такой же степени, как и слову героя. В мире Достоевского вообще нет ничего вещного, нет предмета, объекта, - есть только субъекты."²³

Среди современников Достоевского подобная позиция была характерна еще для Белинского: мы говорили уже о субъективном тоне его писем /и некоторых статей/, о его антипатии к абстракциям и обобщениям, о безоговорочном уважении к личности. В его стиле доминируют элементы разговорной речи, эмоции и настроения выражаются и в ругательствах, живых и выразительных, и в единственно для него характерных оборотах речи, но что еще роднит его с Достоевским, так это его свойство представить адресата в осязательной форме. Но Белинский в этих письмах всегда обращается к реальному второму лицу, которое впитывает в себя и аргументы "Я" и "Ты". В мире Достоевского - то есть на уровне литературной фикции - также доминирует второе лицо: против овеществления-обезличивания и Достоевский, и Белинский видят единственное спасение в обращении ко всем, к миру, в превращении самого себя, другого человека и мира во второе лицо. Это поведение всегда требует восторженности, напряженности, потому что тенденция развития человеческих обществ всегда показывает обратное направление. На уровне диалога можно остаться лишь силой воли: без усилия, без напряжения духовных сил человеку не дается оживляющая благодать диалога. Так объясняется то, что для подпольного человека страшнейшим врагом является инерция, то есть тяготение к миру "Оно": это такая тяжесть, такое сильное искушение, что оно заставляет его постоянно трепетать, как Белинского - апатия, представляющаяся ему иногда

в космическом масштабе.

В настоящей статье мы постарались указать на те мотивы в переписке Белинского и в "Записках из подполья" Достоевского, которые обнаруживают сходство их "душевной организации" и объясняют проблематичность отношения Достоевского к Белинскому и, косвенно, писателя к своему подпольному герою. Но сходство является лишь одной стороной этого отношения. Если мы примем во внимание истинное значение слова "двойник" /термин Долинина/, то мы должны будем считаться и с той отталкивающей силой, которая действовала в их знакомстве. Среди причин этого отталкивания есть т.н. внутренние, органические, но более интересны те различия, которые проявляются в их мировоззрении, убеждениях. Анализ этих различий составляет тему новой работы и требует еще тщательного исследования.

Примечания

1. Erich F. Podach. Friedrich Nietzsches Werke des Zusammenbruchs. Rothe Verlag, Heidelberg, 1961, 413--414. pp.
2. П.В. Анненков. Литературные воспоминания /Замечательное десятилетие/. СПб., 1909.
3. В.Г. Белинский. Полн. собр. соч. т. 11, с. 416.
4. П.В. Анненков. Ук. соч., с. 346.
5. Н. Отверженный /И.Г. Булычев/. Штирнер и Достоевский. Изд. "Голос труда". М., 1925.
6. Fülep Lajos. Stirner. In: u.ő.: A művészet forradalmától a nagy forradalomig. Bp., 1974.
7. Л. Шестов. Sine effusione sanguinis. В кн.: Умозрение и откровение. YMCA Press, Paris, 1964, 201.p.
8. В.Г. Белинский, т. 12, с. 71.
9. Из архива А.М. Горького. Русская литература, 1968/2, с. 21.
10. В.Г. Белинский, т. 11, с. 175.
11. Л. Шестов. Умозрение и откровение, с. 175.
12. В.Г. Белинский, т. 12, с. 70.
13. Там же, с. 70.
14. А.А. Корнилов. Молодые годы Бакунина. Из философии русского романтизма. М., 1915.
15. В.Г. Белинский, т. 12, с. 150--151.
16. Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 5, с. 119.
17. Там же, с. 121.
18. В.Г. Белинский, т. 12, с. 160.
19. В.Г. Белинский, т. 11, с. 293.
20. Ф.М. Достоевский. Письма II, М.-Л., 1930. Предисловие Долинкина, с. X.
21. В.Г. Белинский, т. 11, с. 188.
22. Ф.М. Достоевский. Письма II, с. 313--314.
23. М. Бахтин. Проблема поэтики Достоевского. М., 1977, с. 276.